



## XXV. ВДОХНОВИТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

Еще в юношеские годы Чернышевский непоколебимо верил, что настанет время, когда он сумеет широко развернуть борьбу с самодержавием.

Теперь эта пора наступила. По мере того как страна вступала в полосу революционной ситуации, по мере того как разрастались крестьянские бунты и во всех слоях общества усиливалось напряженное ожидание развязки крестьянского вопроса, роль Чернышевского, как вождя революционной демократии, становилась все более и более активной.

Лучшие люди страны, стремившиеся посвятить свои силы служению революции, объединились вокруг него.

Рядом с ним действовал его близкий друг и единомышленник — Н. А. Добролюбов, который готов был, подобно своему учителю, пожертвовать жизнью для блага народа. «Вышел я на бой, — писал Добролюбов своему товарищу по семинарии вскоре после знакомства с Чернышевским, — без заносчивости, но и без трусости — гордо и спокойно... Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к гибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не да-

ром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мной мое всегдашнее неотъемлемое утешение, — что я трудился и жил не без пользы...»

С уверенностью можно сказать, что если бы не преждевременная смерть, вскоре последовавшая, то Добролюбов не избежал бы участи, постигшей виднейших революционных деятелей шестидесятых годов.

Идейное влияние Чернышевского наложило печать на творчество великого народного поэта Украины Тараса Шевченко, помогло ему найти ярчайшие краски для изображения судьбы обездоленного народа.

Тесное общение с Чернышевским помогло Михаилу Ларионовичу Михайлову осознать необходимость действенной пропаганды, революционизировало его мысль, толкнуло его на составление вместе с Шелгуновым известной прокламации «К молодому поколению», заканчивавшейся призывом к политическому перевороту.

Один из будущих руководителей восстания в Польше в 1863 году, Сигизмунд Сераковский, в начале своего сближения с Николаем Гавриловичем находился в плену ошибочных представлений о возможности коренных общественно-политических реформ при сохранении самодержавия. Чернышевский сумел развеять эти иллюзии и заблуждения пылкого, увлекающегося Сераковского, сумел направить его неукротимый темперамент на путь революционной борьбы.

Огромную силу революционизирующего воздействия Чернышевского непрестанно ощущали на себе его ученики и сподвижники братья Серно-Соловьевичи. Старший из них, Николай, один из виднейших деятелей тайного общества «Земля и воля», автор лозунга «Все для народа и только народом», неузнаваемо вырос, закалился, работая рука об руку с Чернышевским

в бурный период революционного кризиса шестидесятих годов.

Владимир Обручев, будущий член нелегального общества «Великорусс», обращаясь к Чернышевскому, просил указать ему цель, к которой он, Обручев, должен стремиться; Обручев сознавал, что только содействие признанного руководителя революционных демократов способно помочь ему высоко подняться над уровнем либеральных господ.

Все они отличались необыкновенным благородством и внутренней доблестью и готовы были в любую минуту пожертвовать жизнью для блага отчизны и родного народа.

Герцен, хорошо знавший ближайших соратников и единомышленников Чернышевского — М. Михайлова, С. Сераковского, Н. Серно-Соловьевича и других, чрезвычайно высоко ценил каждого из них. Имена эти навсегда остались для него священными. Недаром он уподоблял Н. Серно-Соловьевича по душевной чистоте и смелой откровенности герою трагедии Шиллера «Дон-Карлос» маркизу Позе, который безбоязненно обличал деспотизм Филиппа II. Недаром он считал Сигизмунда Сераковского чистейшим и благороднейшим из людей, а М. Михайлова называл святым страдальцем за великое дело свободы.

Жизнь и деятельность этих революционеров действительно являла собой исключительный пример беззаветной преданности интересам народа.

Летом 1861 года в Берлине вышла брошюра «Окончательное решение крестьянского вопроса», подписанная полным именем Николая Серно-Соловьевича. В этом замечательном сочинении автор дал блестящую и смелую критику реформы 19 февраля и ясно заявил, что крестьянский вопрос «разрешим только двумя

способами: или общею выкупною мерою, или топо-рами...»

В предисловии к своему трактату Серно-Соловьевич писал: «Я публикую его под своим именем, — потому, что думаю, что пора нам перестать *бояться*».

Это был прямой призыв к решительным действиям против самодержавия.

Заточение в каземате Петропавловской крепости не сломило воли замечательного революционера и патриота. В одном из своих обращений к правительству, написанном в тюрьме в 1863 году, Серно-Соловьевич заявляет о своей готовности перенести любые тягчайшие преследования за любовь к родине.

«Я думаю не о себе, — говорит он, — а об отечестве, и исполняю то, что считаю своим долгом к нему...»

Чернышевский горячо любил этого юношу. В одном из писем к Добролюбову в 1861 году он говорит о «закадычной дружбе», которая связывает его с Серно-Соловьевичем.

Точно такими же узами сердечной близости был связан Чернышевский и с польско-русским революционером Сигизмундом Сераковским. Они были ровесниками. В 1848 году, будучи студентом Петербургского университета, Сераковский был арестован при попытке перейти русско-австрийскую границу в Галиции. По приговору царского суда он был сослан в арестантские роты в Новопетровский порт на берегу Каспийского моря. Здесь он подружился с Тарасом Шевченко и ссыльными петрашевцами.

Добившись затем благодаря своей кипучей энергии перевода в Петербург и получения офицерского звания, Сераковский выехал в столицу несколько ранее Шевченко.

Расставаясь с ним, он писал: «Батьку! Еду в Петербург и на берега Днепра. Не бойся, не забуду! Днепр напомнит мне о тебе, батьку! Полк, в который я назначен, стоит зимой на берегах Днепра, около Екатеринослава, на месте Сичи. При первом известии об этом я написал послание — ты его в нынешнем году получишь. В нем слог слаб, но мысль высокая. Мысль — не моя, чувство мое. Мысль эта о слиянии единоплеменных братий, живущих на обеих сторонах Днепра».

Горячее стремление Сераковского всемерно содействовать установлению дружеских и братских отношений польского и русского народа и славянских народов вообще вызвало живое сочувствие у русских революционных демократов. «Его любимой мечтой, — писал Герцен, — была независимая Польша и дружественная ей вольная Россия».

Прямоту, непреклонность и революционный темперамент Сераковского Чернышевский блестяще охарактеризовал в романе «Пролог».

Здесь он влагает в уста Соколовского (то-есть Сераковского) следующие слова: «Я поляк. Но, правда, я хорошо говорю по-русски. Было время выучиться. Было время и узнать русский народ, и полюбить его. Это хороший народ, добрый, справедливый».

Начиная с 1858 года, Сераковский стал организовывать революционную группу польских офицеров и студентов. Впоследствии ее возглавил национальный герой Польши Я. Домбровский, будущий генерал Парижской Коммуны, также разделявший освободительные идеи вождей русской революционной демократии — Чернышевского и Герцена.

Из группы Сераковского и Домбровского вышли самые деятельные руководители январского восстания

в Польше в 1863 году. Сам же Сераковский стал во главе восстания в Литве. Он поднял на борьбу против царизма широкие крестьянские массы, но был захвачен в плен карательным отрядом и казнен.

Так погиб человек, которого Чернышевский считал одним из лучших людей на свете.

Эти деятели революционного движения в России, составившие ближайшее окружение Чернышевского в период 1859—1861 годов, всемерно способствовали распространению идей революционной демократии в массе учащейся молодежи, в среде передового офицерства, в кругах рядовых служащих и разночинной интеллигенции.

Теперь на вечерах у Чернышевского было многолюдно и шумно: военные, студенты, литераторы, ученые. Ольга Сократовна умело маскировала частые встречи Николая Гавриловича с революционно-настроенной молодежью; порою она придавала этим встречам характер оживленных вечеринок с танцами и с пением. В разгаре веселья она любила выбегать на улицу и, как бы любуясь на залитые светом окна своей квартиры, говорила, обращаясь к прохожим: «Это веселятся у Чернышевских».

Николай Гаврилович, как подлинный революционер и замечательный конспиратор, не расточал громких фраз, не занимался революционной декламацией. Он пристально и зорко всматривался в каждого нового человека, появлявшегося в поле его зрения, стремясь угадать, насколько сознательна и серьезна его решимость примкнуть к революционному движению. Только после того, как новый знакомый делался ему совершенно ясен, Николай Гаврилович начинал приближать его к себе и оказывать ему доверие. Проницательность и прозорливость Чернышевского в отно-

шении к людям остро ощущали все, кому приходилось соприкасаться с ним.

«Когда говоришь с Николаем Гавриловичем, чувствуешь, что он не только знает, что у тебя во лбу, но и что скрывается под затылком», — заметил как-то один из студентов, посещавших тогда Чернышевского, своему приятелю Л. Ф. Пантелееву, участнику «Земли и воли», впоследствии отошедшему от революционного движения.

Сходным было впечатление и самого Пантелеева, который отмечал, что в обществе Николай Гаврилович вел самые обыкновенные разговоры, но совсем другим являлся в беседе с гостем в своем кабинете. «Тут речь его всегда была серьезна, осмыслительна, чужда двусмысленности и вместе с тем далека от какого-нибудь подстрекательства. Напротив, он пользовался каждым подходящим случаем, чтобы подчеркнуть, с какими трудностями приходится бороться каждому освободительному движению, как сильны враждебные силы, как они изощряются в борьбе... Внимательно следя за движением среди молодежи, хорошо осведомленный, всей душой ей сочувствуя, Николай Гаврилович был, однако, далек от преувеличенной оценки молодого поколения, и даже в его горячей защите молодежи совсем не видно было и тени того сентиментализма, который тогда широко сказывался в суждениях о молодежи. Характерной чертой Николая Гавриловича было то, что редкий молодой человек, сталкивавшийся с ним, не испытывал на себе его ободряющего совета и поощрения».

Зарождение революционной организации «Земля и воля» связано с именами Герцена, Огарева и Чернышевского. Один из учредителей «Земли и воли», А. А. Слепцов, по прошествии многих лет рассказал

о своей встрече с Чернышевским летом 1861 года. Слепцов тогда только что вернулся из заграничной поездки, во время которой он несколько раз виделся с Герценом.

Он пришел к Чернышевскому вечером, передал в прихожей прислуге письмо от Н. Н. Обручева и свою визитную карточку. Войдя затем по приглашению в слабо освещенный зал, Слепцов увидел здесь несколько человек. «Чернышевский, как теперь вижу, вышел из-за какого-то стола мне навстречу, протянул руку и со словами: «Милости прошу, пройдемте ко мне», не представив меня никому, не выпуская моей руки из своей, провел в другую комнату. «Здесь нам разговаривать будет удобнее», — прибавил он, зажигая свечу».

Слепцов сообщил ему, что и Герцен и друг Герцена, итальянский революционер Маццини, уверены в близости революционного восстания в России. Затем разговор коснулся вопроса о возможности организации в России тайного общества и об издании прокламаций к моменту ожидавшегося в 1863 году крестьянского восстания.

— И вот, Николай Гаврилович, — сказал Слепцов, — об этом-то я и хотел, собственно, поговорить с вами, послушать, что вы скажете.

— Что же, это дело, — твердо сказал Чернышевский.

Прощаясь со Слепцовым, он пообещал зайти вскорости, чтобы поговорить об этом пообстоятельнее.

Прошло несколько месяцев, и глубокой осенью 1861 года план организации «Земли и воли» перешел в стадию осуществления. Братья Серно-Соловьевичи в беседе с Николаем Гавриловичем развернули перед ним проект предстоящей революционной деятельности

тайного общества. Одну из главных своих задач они видели в широкой революционной пропаганде, обращенной непосредственно к народу. Большое место в их плане уделено было вопросу о возможности распространения влияния на армию.

Чернышевский выслушал их очень внимательно, с неослабевающим интересом и обещал свое содействие. Сносясь с главными участниками этого общества, Чернышевский живо интересовался их работой, давал советы, анализировал их проекты.

Начало шестидесятых годов было очень плодотворным, но вместе с тем и чрезвычайно трудным периодом для «Современника». Судьба его висела на волоске. Редакция неоднократно получала предупреждения властей о «вредном» направлении журнала, и ему ежедневно грозило если не окончательное, то длительное запрещение.

Манифест об «освобождении» крестьян и «Положение», излагающее основы реформы, были подписаны Александром II 19 февраля 1861 года. Реформа эта ни в малейшей мере не могла удовлетворить крестьян, ожидавших освобождения с землею и без выкупа, но на деле попавших в еще большую зависимость от помещиков. Теперь крестьяне принуждены были, согласно «Положению», арендовать у них земли на кабальных условиях.

Ленин, характеризуя «реформу», писал, что «пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 94—95.

Новая волна бунтов явилась ответом обманутых крестьян на реформу. По официальным данным, число восстаний дошло в 1861 году до 1 200. 45 губерний из 47 в Европейской России были охвачены ими.

В то время как либералы славословили на страницах своих журналов «освобождение» крестьян, «Современник» хранил на этот счет глухое демонстративное молчание, ибо лишен был возможности открыто критиковать манифест и «Положение».

Истинный смысл того и другого документа был совершенно ясен Чернышевскому и его друзьям. «В тот день, — вспоминал он много лет спустя, — когда было обнародовано решение дела (имеется в виду опубликование манифеста 19 февраля. — Н. Б.), я вхожу утром в спальню Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». «Нет, этого я не ожидал», отечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения».

Как ярко контрастирует приведенному описанию письмо либерального критика Анненкова к Тургеневу, где он не находит слов, чтобы выразить свое умиление царем-освободителем.

Только верноподданные либералы могли, подобно Анненкову, восторгаться этой жалкой полумерой царского правительства, предоставлявшей юридическую личную свободу крестьянам, но в то же время узаконившей новые формы их ограбления.

Брожение, вызванное реформой, распространилось и на студенческую молодежь, которая все настойчивее напоминала о себе правительству демонстрациями протеста.

Видный соратник Чернышевского Шелгунов говорит в своих воспоминаниях об этой эпохе: «Освобождение совершилось в такой тайне, и общее внимание было так напряжено, что каждый ждал гораздо большего, чем получил. Неудовлетворение вызвало недовольство, а недовольство создало революционное брожение. Вот источник эпохи прокламаций... прокламации, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно и в глубокой тайне».

Чернышевский был настолько умелым конспиратором, что до сих пор исследователи не могут восстановить сколько-нибудь полную картину его участия в составлении и распространении прокламаций, появившихся в начале шестидесятых годов, и вообще не могут обрисовать во всех деталях его революционно-организаторскую деятельность. Несомненно одно: революционные кружки, об одном из которых говорит Шелгунов, были вдохновляемы и руководимы Чернышевским. С большой долей вероятности можно сказать также, что та прокламация, которую Шелгунов назы-

вает «К народу», является воззванием «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», написанным самим Чернышевским. С блестящим агитационным мастерством раскрыта в ней роль самодержца как первого помещика в стране, осудившего народ на вечную кабалу. Простым и доступным языком прокламация разъясняла, что такое настоящая воля; в ней указывалось, что надо остерегаться преждевременных единоличных выступлений, тщательно подготовиться к борьбе против царя и помещиков и дружно выступить в назначенный срок всем сразу.

Воззвание к «Барским крестьянам» было переписано рукою Михайлова и передано Всеволоду Костомарову, оказавшемуся, как потом выяснилось, провокатором.

Проникновение его в среду революционных демократов стало роковым для Михайлова и сыграло затем свою роль в процессе Чернышевского.

Костомаров служил корнетом в Уланском полку и, кроме того, занимался литературной работой, переводя стихотворения западноевропейских поэтов. Михайлову и Чернышевскому он был рекомендован поэтом-петрашевцем Плещеевым и благодаря этой рекомендации стал печататься в «Современнике».

Плещеева долго потом мучило сознание, что он невольно причинил столько вреда Михайлову и Чернышевскому, но сожалеть уже было поздно..

Костомаров оказался той личностью, с помощью которой властям удалось впоследствии создать хотя бы видимость юридических улик против Чернышевского, чтобы осудить его на каторгу и ссылку.

В пространным письме Плещеева к Пыпину, написанном под непосредственным впечатлением от смерти Чернышевского в октябре 1889 года, рассказано, как

удалось провокатору Костомарову проникнуть в среду «Современника».

Плещеев пишет: «В то время, как я жил в Москве, пришел ко мне однажды Ф. Берг, помещавший иногда свои стихи в «Современнике», и привел молодого уланского офицера Всеволода Костомарова, которого рекомендовал мне как даровитого переводчика стихов. Он прочел мне несколько своих переводов... После этого он стал заходить ко мне часто, и я содействовал ему в помещении его стихотворений в журнале. Сначала он мне понравился, показался скромным, застенчивым молодым человеком... Несколько времени спустя после моего с ним знакомства он задумал ехать в Петербург, сказав мне, что выходит в отставку и желает жить литературным трудом. Он просил дать ему рекомендательное письмо в редакцию «Современника». Я исполнил его желание и рекомендовал его Николаю Гавриловичу и Михаилу Ларионовичу Михайлову как человека, отлично знающего языки... и очень способного к компилятивной работе. Они прекрасно приняли его, обласкали, и в «Современнике» стали появляться его работы...»

В дальнейшем мы увидим, что Костомаров пытался путем подделки письма Чернышевского к «Алексею Николаевичу» (имя и отчество Плещеева) втянуть и своего рекомендателя в соучастники «преступлений» Чернышевского.

По приезде в Петербург Костомарову удалось произвести благоприятное впечатление на Михайлова и Шелгуноза. Последний в своих воспоминаниях так рассказывает о появлении Всеволода Костомарова в Петербурге: «Костомаров был уже немного известен, как переводчик Гейне; но, не удовлетворяясь этой известностью и рекомендацией Плещеева, он отрекомендовал

себя еще я сам. Он привез революционное стихотворение... напечатанное домашними средствами и с пропечатанною внизу фамилией: «В. Костомаров». Это хвастовство оказалось лучшей рекомендацией... Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера...

Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудовольствиях, которые он выносит дома; особенно он жаловался на брата. Костомаров рассказывал, что, когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту, или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал работу в «Современнике» и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать...»

Первым пал жертвою предателя Михайлов. Летом 1861 года он отпечатал в Лондоне, в герценовской типографии, прокламацию «К молодому поколению» и привез ее в Россию с целью распространения. Вскоре после его приезда разнесся слух об аресте Костомарова по делу о тайном печатании московскими студентами нелегальных произведений; арест его произошел якобы по письму-доносу его брата; в действительности

письмо это было плодом провокаторской деятельности самого Всеволода Костомарова. С этого времени и начинается его предательская роль в двух самых важных политических процессах начала шестидесятых годов — Михайлова и Чернышевского.

Революционная ситуация, создавшаяся в стране, была настолько очевидна, что даже в правящих кругах признавали, что Россия стоит накануне «путачевщины». Гнев народа против угнетателей грозил вылиться в широкое революционное движение. Признанным вождем и вдохновителем этого движения считался Чернышевский.

Со времени появления на сцене Костомарова все более и более усиливалось внимание властей к Чернышевскому. В недрах Третьего отделения созрел и вынашивался план расправы с великим революционным демократом и его окружением.

Над головою Чернышевского быстро сгустились тучи... Тяжесть его положения в это время усугублялась тем, что и в личной его жизни одно драматическое событие следовало за другим. За очень краткий промежуток времени, с конца 1860 года до своего ареста в середине 1862 года, он пережил много утрат родных ему по крови или по духу людей. Смерть сына... Смерть отца... Смерть Добролюбова, которого он любил, как брата и сына... Смерть Шевченко... Аресты друзей...

С весны 1861 года болезнь Гавриила Ивановича стала обостряться: все чаще случались припадки сердечбиения, и он с трудом поднимался по лестнице. Получение известий об этом чрезвычайно обеспокоило Николая Гавриловича, и он обратился за советом к знаменитому доктору С. П. Боткину, который заочно написал рецепт. Лекарство оказало хорошее действие на

Гавриила Ивановича. «Какие плохие здешние доктора. — говорил он близким знакомым, — сколько я ни принимал лекарств, прописанных мне ими, я ни разу не чувствовал облегчения, между тем после нескольких приемов лекарства Боткина чувствую себя гораздо лучше». Но когда Гавриил Иванович сообщил об этом сыну, а тот, в свою очередь, Боткину, последний ответил ему: «Если больной чувствует себя хорошо после приема лекарства, то, значит, положение безнадежное: он недолго проживет».

Слова Боткина обеспокоили Чернышевского, и он в середине августа поспешил выехать в Саратов.

Остановившись в Москве, он посетил Всеволода Костомарова, не подозревая, что последний уже готовился осуществить свой провокационный план с целью предать в руки властей сначала Михайлова, а затем и его самого.

Роковой круг стал уже смыкаться. Теперь на каждом шагу подстерегала его опасность, но он не предполагал, что она так близка и неотвратима. В ту пору, когда он жил в Саратове, в кругу родных и близких людей, над Михайловым в Петербурге уже разразилась катастрофа, предвещавшая беду и Чернышевскому. Полицейские агенты в Петербурге стремились приписать нарастание студенческих волнений пагубному влиянию Чернышевского. Он не знал, что в столице уже пронесся в его отсутствие слух о его аресте.

С какою непосредственной радостью спешил он по приезде в Саратов известить двоюродного брата филолога о той необычной находке, которую случилось ему обрести по пути из Владимира в Нижний Новгород! Он просит Пыпина передать свое письмо об этой находке Добролюбову для напечатания в «Известиях» Академии наук или в «Современнике».

От Владимира до Нижнего Чернышевский ехал в ямщицком тарантасе. Остановившись в Вязниках на постоялом дворе, в ожидании, пока перепрягут лошадей, он разговорился с пожилым степенным мещанином из Коврова, торговавшим, как оказалось, старопечатными книгами и рукописями. Иван Антипович Кувшинников (так звали книготорговца) заметил в разговоре, что у него есть, между прочим, харатейная рукопись XIII века, заключающая в себе «Минию Цветную». Чернышевский выразил желание взглянуть на нее. Кувшинников отправился к своему тарантасу и через несколько минут притащил огромный пергаментный фолиант в кожаном черном переплете с медными застегками. Рассматривая рукопись, Чернышевский увидел, что первые пятьдесят шесть листов и последние сто двадцать были действительно началом и концом «Минии Цветной», а средняя часть рукописи — двести листов — оказалась списком какой-то летописи без начала и конца. Чернышевский пришел в восторг от мысли, что напал на редчайший список русской летописи, который на целое столетие был древнее Лаврентьевского.

— Так это «Миния Цветная»? — спросил он торговца, сдерживая проявление радости.

— Да.

— Давно она у вас в руках?

— Всего третья сутки.

«Вот почему торговец не успел познакомиться подробнее с содержанием рукописи», — подумал Чернышевский.

— Где вы достали ее?

— Купил в Москве у государственного крестьянина Малмыжского уезда Офросимова, торгующего старыми книгами.

— Дорого вы надеетесь взять за нее в Нижнем?

— Да, по крайней мере, рублей сто, — сказал Кувшинников не очень уверенным тоном.

— Сто рублей берите, если хотите, в Нижнем: там деньги бешеные, а я вам, пожалуй, дам двадцать пять рублей.

Кувшинников стал торговаться, и, наконец, сошлись они на сорока пяти рублях.

Чернышевскому не с руки была эта покупка, так как денег с ним было мало, но упустить находку ему не хотелось. «Бог знает, кому во владение попадется она в Нижнем, — подумал он, — быть может, раскольникам, у которых пролежит в неизвестности еще десятки лет». Он понимал, что уплаченная им цена слишком низка, и не хотел оставлять в заблуждении Кувшинникова. Когда ямщик сказал Чернышевскому, что тарантас готов, он, улынувшись, обратился к торговцу:

— Рукопись, которую вы мне продали, стоит не сорок пять, а я не знаю, сколько рублей: быть может, пятьсот, быть может, тысячу, а то и больше. Но я устрою так, что вы не останетесь в накладе. За сколько я продам ее по возвращении своем в Петербург, все передам вам, только вычту свои сорок пять рублей. Вот вам мой петербургский адрес...

Сказав это, Чернышевский направился к тарантасу, простившись с изумленным Кувшинниковым, и через минуту уже выехал с постоянного двора...

Никогда еще расставание Николая Гавриловича с отцом не было столь грустным, как в этот раз. Предчувствуя, что это свидание было последним, он плакал, прощаясь с отцом, но не сказал никому ни слова о мнении Боткина насчет болезни Гавриила Ивановича.

Во время пребывания Чернышевского в Саратовском доме их стал часто посещать саратовский полицмейстер, который очень хотел познакомиться со своим сыном с Николаем Гавриловичем, утверждая, что сын его большой поклонник писательского таланта Чернышевского. Однако Николай Гаврилович уклонился от этого знакомства, а впоследствии Н. Д. Пыпин узнал случайно от одного из чиновников, служивших в канцелярии губернатора, что последний получил перед приходом Николая Гавриловича в Саратов секретное предписание учредить слежку за Чернышевским и не давать ему заграничного паспорта, если он обратится с подобною просьбой.

В двадцатых числах сентября в Петербурге начались волнения и демонстрации студентов, вызванные распоряжением властей о закрытии университета. 25 сентября, после сходки, сотни студентов направились через Невский проспект на Колокольную улицу, к квартире попечителя учебного округа Филиппова. «Это было, действительно, еще никогда невиданное зрелище, — пишет Шелгунов. — Студенты длинной колонной, в ширину панели, шли медленно по Невскому, привлекая толпы любопытных, не понимавших, что это за процессия и куда она направляется...» По распоряжению начальника штаба корпуса жандармов были вытребованы полицейские и жандармские команды. Попечитель округа обманно успокоил студентов, обещав им, что лекции начнутся на следующей неделе. Демонстранты разошлись, а ночью были произведены многочисленные аресты студентов.

Полицейские агенты доносили, что во время демонстрации один из студентов явился на квартиру Чернышевского с сообщением о начавшихся волнениях. Чернышевский же, как говорилось в доносе, вышел из

своей квартиры на улицу, подошел к толпе и беседовал со студентами.

В другом донесении говорилось, что один офицер стрелкового батальона, выступавший на сходках, рассказывал нескольким студентам в гостинице, что литератор Чернышевский занимается теперь составлением адреса государю с жалобами на действия властей и в случае невозможности довести этот адрес до сведения царя будет распространять его в городе.

В третьем донесении передавался слух о Чернышевском как составителе прокламации, вывешенной в университете незадолго до его закрытия.

Уже вскоре по возвращении в столицу Чернышевский писал отцу: «Нашел я Петербург встревоженным разными слухами по поводу введения новых правил в университете. Тут молва, по обыкновению щедрая на выдумки, приплетала множество имен, совершенно посторонних делу. Не осталось сколько-нибудь известного человека, о котором не рассказывалось бы множество нелепостей. Подобные вздорные толки могут доходить и до Саратова. Я не упоминал бы о них, если бы не считал нужным предупредить Вас, чтобы Вы не беспокоились понапрасну».

Нас не должен обманывать этот тон человека, буд-то бы и вовсе не причастного к тому делу, о котором он рассказывает, и даже равнодушного к нему. Этот тон очень хорошо знаком нам еще по юношеским письмам Чернышевского. Ведь почти в таких же выражениях студент Петербургского университета писал своим родным в Саратов в самом начале 1850 года о «пустом шуме», поднятом в столице в связи с делом Петрашевского. Пусть они не думают, что здесь было что-нибудь серьезное. Никакого внимания не заслуживало это дело. «Кажется, жалели, что и подняли шум из-за него;

но раз поднявши шум, разумеется, уже нельзя же было кончить ничем».

Вот и теперь он спешит предупредить и успокоить больного отца, до которого могут дойти слухи о причастности сына к волнениям и беспорядкам, происходящим в столице.

Через двадцать дней после того, как было написано это письмо, Гавриила Ивановича не стало...

События в Петербурге принимали все более угрожающий характер. 12 октября, после столкновения студентов с войсками, были произведены массовые аресты (свыше двухсот человек). Все арестованные были доставлены в крепость и затем на другой день под строгим конвоем в Кронштадт до разбора их дела следственной комиссией.

Теперь полиция уже не выпускала Чернышевского из поля своего зрения ни на один час. За его квартирой была установлена систематическая слежка. Прислуга была подкуплена.

По сводкам наблюдателей полиция знала, кто посещает Чернышевского и кого посещает он сам. Она знала, что он «велел допускать к нему ежедневно не всех, а принимать во всякое время только нижепоименованных лиц: Некрасов, Панаев, Антонович, Огрызко, Добролюбов, Кожанчиков, Елисеев, Городков, Пекарский, Серно-Соловьевич, Воронов, Боков». Для остальных посетителей Чернышевский назначил среду, до трех, «в этот день у него бывает чрезвычайно много посетителей, не исключая офицеров».

Агенты заметили, что с некоторого времени Ольга Сократовна сама стала встречать в дверях посетителей Чернышевского, тогда как прежде дверь им открывала гувернантка. Они обратили внимание и на то, что Чернышевскую теперь часто можно было видеть у второго

от подъезда окна: она пристально следила глазами за каждым, кто направляется в этот подъезд.

Иногда она сопровождала Николая Гавриловича, если он выезжал из дому по делам. Как-то раз следивший за ними агент увидел, что, дожидаясь мужа около одного из домов на Васильевском острове, Ольга Сокоратовна дважды выходила из саней, поднималась на крыльцо и все всматривалась в прохожих, как бы стремясь распознать, кто ведет секретное наблюдение за действиями ее мужа.

Полиции было известно, что в последнее время Чернышевский чаще всего бывает у больного Добролюбова.

Дни жизни любимого друга Чернышевского были уже сочтены. Туберкулез, обострившийся вследствие тяжелых душевных переживаний, связанных с начавшимися арестами революционеров и жестокой расправой со студентами, сломил его. «Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его, он слег в постель, чтобы уже не встать с нее», — свидетельствует Антонович.

В воспоминаниях Авдотьи Панаевой сохранилось описание его последних минут в ночь с 16 на 17 ноября:

«Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати... Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку...» Я взяла его руку, она была холодная... Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Прощайте... подите домой! скоро!» Это были его последние слова... в два часа ночи он скончался».

20 ноября состоялись похороны Добролюбова на Волковом кладбище. В одном из донесений агентов Третьего отделения дано описание этого дня:

«Сегодня, в 9½ часов утра, был вынос тела умершего 17-го числа литератора Добролюбова. В квартиру его на Литейной собралось более 200 человек литераторов, офицеров, студентов, 6 гимназистов и других лиц. Всем бывшим там раздавали его визитные карточки. Гроб несли на руках до самого кладбища, но похороны его были довольно бедные. В кладбищенской церкви, во время отпевания тела, намеревались было говорить речи, но священники этого не позволили.

Когда гроб вынесли на паперть, то выступил Некрасов и стал говорить весьма невнятно, сквозь слезы, почти шопотом о причине смерти Добролюбова, приписываемой им сильному душевному горю, вследствие многих неприятностей и неудач, присовокупив, что он умер, к несчастью, слишком рано, мог еще много совершить, ибо он занимался делом, а не голословил, и советовал последовать его примеру. Речь Некрасова трудно было расслышать.

Потом говорил Чернышевский. Начав с того, что необходимо объяснить собравшейся публике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа, дневник покойного, найденный мною в числе его бумаг<sup>1</sup>: он разделяется на две части — на внесенное им в оный до отъезда за границу и на записанное после его возвращения. Из этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти; лиц я называть не буду, а скажу только: N. N.»

---

<sup>1</sup> Недавно донесено было, что Чернышевский, возвращаясь вечером домой от Добролюбова, привез с собою узел с бумагами.

Тут Чернышевский начал читать статей восемь, приблизительно следующего содержания:

«Такого-то числа пришел ко мне (Добролюбову) N. N. и объявил мне, что в моей статье сделано много помарок.

Такого-то числа явился ко мне N. N. и передал, что за мою статью, которая была напечатана там-то, он получил выговор.

(Подобного содержания было несколько параграфов).

Такого-то числа получено известие, что в Харьковском университете были беспорядки.

Получено уведомление, что беспорядки были и в Киеве.

Дошли сведения, что некоторые из «наших» сосланы в Вятку; другие же — бог знает, что с ними стало.

Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить подчиниться начальству».

«Но главная причина его ранней кончины, присовокупил Чернышевский, состоит в том, что его лучший друг<sup>1</sup> — вы знаете, господа, кто! — находится в заточении...»

В заключение Чернышевский прочитал два довольно длинных стихотворения Добролюбова, в весьма либеральном духе написанные, из которых первое оканчивалось словами:

«Прости, мой друг, я умираю оттого, что честен был»; а второе словами: «И делал доброе я дело среди царящего зла!»

Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали

<sup>1</sup> М. Л. Михайлов.

Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, — одним словом, что правительство умолило его.

Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между собою заметили: «Какие сильные слова, чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют...»

Повидимому, уже начиная со второй половины 1861 года, царское правительство готовилось в самом недалеком будущем «обезвредить» Чернышевского. Опасаясь, что он, разгадав этот план, покинет пределы России, министр внутренних дел Валуев отдал секретное распоряжение всем губернаторам о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта. Третье отделение продолжало вести систематическую слежку за квартирой писателя. В агентурных донесениях перечислялись имена и фамилии всех посетителей его квартиры с указанием рода их занятий: в таком-то часу, такого-то числа у Чернышевского были такие-то студенты, такой-то литератор, такой-то офицер...

Сто тринадцать подобных донесений, отмечавших, кто посещал Чернышевского и куда он отлучался сам, накопилось с осени 1861 года до дня его ареста. Не довольствуясь «наружным наблюдением», полиция позаботилась и о «внутреннем». В один из декабрьских дней подкупленная служанка Чернышевских доставила в Третье отделение бумаги, отданные ей Николаем Гавриловичем для сожжения.

В доносах, направляемых в Третье отделение, ярые крепостники требовали скорейшей расправы с вождем освободительного движения: «...ежели вы не удалите его, то быть беде, — будет кровь, — ему нет места

в России — везде он опасен... скорее отнимите у него возможность действовать... Избавьте нас от Чернышевского — ради общего спокойствия», — зывали к полиции враги великого демократа.

Самому Чернышевскому они направляли анонимные письма, полные угроз и оскорблений.

Травля Чернышевского реакционной печатью, также носившая характер доносов, достигла в это время апогея. В одной из статей «Современника» отмечалось, что особенно ревностно этим делом была занята газета «Северная пчела», предполагавшая даже учредить раздел под названием *Чернышевецина*. «Все зла, какие только содеваются в мире, непременно содеваются по злоумышлению Чернышевского или при его несомненном участии, видимом или невидимом содействии, влиянии и т. п.».

Доклад шефа жандармов Долгорукова о внутреннем состоянии России в 1861—1862 годах, представленный Александру II в апреле 1862 года, заканчивался предложением произвести одновременно строжайший обыск у пятидесяти лиц, среди которых на первом месте значилось имя Чернышевского с такою характеристикой: «Подозревается в составлении воззвания «Великорусс», в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству».

Далее в этом проскрипционном списке стояли имена близких к Чернышевскому лиц: подполковника Н. Шелгунова, подполковника Н. Обручева, братьев Серно-Соловьевичей, доктора П. Бокова, литераторов Г. Елисеева, М. Антоновича и других. В характеристиках, данных этим лицам, подчеркивались их «преступные сношения с Чернышевским».

14 декабря 1861 года на Сытной площади в Петер-

бурге Михайлову был публично объявлен судебный приговор, по которому он ссылался на двенадцать с половиной лет на каторжные работы в Сибирь. День этот, конечно, был выбран мстительными палачами с явным умыслом: ведь прокламация Михайлова «К молодому поколению» заканчивалась призывом, в котором он напомнил русским революционерам об этой славной дате: «Готовьтесь сами к той роли, какую вам придется играть... ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников *14 Декабря*».

И вот в шестом часу утра 14 декабря Михайлова, обритого по-арестантски и закованного в кандалы, повезли в «позорной» колеснице на Сытную площадь, чтобы совершить там над ним издевательский обряд «гражданской казни». Одетый в серую арестантскую шинель, Михайлов сидел в повозке спиною к кучеру. Повозку сопровождали три взвода верховых казаков.

По прибытии на площадь Михайлова повели на эшафот и при барабанном бое военного наряда поставили на колени. Один из чиновников прочитал ему приговор, после чего палач переломил над его головой заранее подпиленную шпагу. Было еще темно, и потому площадь почти пустовала, только уже к концу казни стал собираться народ. Чиновник читал приговор так тихо и невнятно, что никто даже не расслышал фамилии казнимого. В толпе шли толки, что казнят какого-то генерала, но за что — неизвестно, говорили также, что он хотел сменить царя и всех министров. Михайлов был спокоен, но бледен, и во все время не произнес ни слова. Ни друзья Михайлова, ни студенческая молодежь не знали о назначенной казни и потому отсутствовали. Опасаясь демонстраций со

стороны студентов, власти опубликовали сообщение о предстоящей церемонии только в самый день казни.

Близким друзьям Михайлова дано было разрешение проститься с ним перед отправлением его в Сибирь, которое должно было состояться вечером 14 декабря. Некрасов, Шелгуновы, Чернышевский, Ольга Сократовна и другие посетили его в крепости.

Вскоре был отправлен на каторгу и другой сотрудник «Современника» — Владимир Обручев, обвиненный в распространении нелегального листка «Великорусс».

В столице, как и во всей стране, было неспокойно. В конце мая 1862 года начались знаменитые петербургские пожары.

Горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта... Огнем уничтожено было много домов между Апраксиным рынком и Троицкой улицей. Все это пространство превратилось в огненную площадь, освещавшую по ночам небо багровым заревом. В иные дни пожары возникали десятками, охватывая целые кварталы. В душной мгле порывистый ветер разносил по воздуху дым, сажу и пепел.

Тысячи людей, лишившихся крова и имущества, бродили с узлами по площадям и улицам. Ворота и подъезды домов были заперты. По городу ходили патрули. Быстро распространялись тревожные слухи о поджогах, о том, что виновниками их являются студенты, поляки и господа, недовольные освобождением крестьян. Агенты полиции, которые и были организаторами пожаров, стремились приписать их действиям революционной организации. Провокационная цель обвинения была ясна: возбудить ненависть к студенческой молодежи и оправдать репрессии правительства.

А репрессии следовали одна за другой: правительство закрывало воскресные школы, народные читальни, приостанавливало издание газет и журналов.

Вскоре после пожаров был закрыт по распоряжению военного генерал-губернатора Шахматный клуб, основанный в январе 1862 года по инициативе Чернышевского и его друзей. Первоначально в нем состояло более ста человек. Тут было много писателей, журналистов, офицеров, педагогов. Из близких Чернышевскому людей клуб посещали: Н. Серно-Соловьевич, Помяловский, Некрасов, Н. Утин, В. Курочкин и др.

Шахматы не играли здесь серьезной роли: в сущности, они служили лишь для маскировки иных целей, — клуб явился удобным местом для встреч и впоследствии должен был, повидимому, превратиться в своеобразный штаб активных деятелей революционного подполья.

Подосланный Третьим отделением провокатор отмечал, что Чернышевский играет здесь «важную роль оратора» и что отсюда исходят «революционные замыслы».

В упомянутом докладе шефа жандармов Александру II Шахматный клуб прямо назван литературным обществом, в котором происходят ежедневные сходки и где студенты совещаются с выдающимися общественными деятелями.

В эту пору идейное влияние Чернышевского на разночинную революционно настроенную интеллигенцию было исключительно велико.

Тяжелые утраты, перенесенные им, не могли сломить его духа. Великий борец за народное дело продолжал и в этих сложных условиях свою многостороннюю деятельность.

Власти, напуганные возможностью народного восстания, беспощадно расправлялись с носителями передовых, освободительных идей. Царское правительство хотело подавить не только крестьянские бунты, но и всякое проявление свободной мысли в обществе. В глазах правящих кругов литература и наука были самыми опасными рассадниками «революционной заразы». Правительство преследовало их, тщетно сясь держать в немом оцепенении духовную жизнь страны.

Летом 1862 года журнал «Современник» был закрыт на восемь месяцев. Чернышевский писал Некрасову, находившемуся в Москве: «Мера эта составляет часть того общего ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правительством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер. Репрессивное направление теперь так сильно, что всякие хлопоты были бы пока совершенно бесполезны. Поэтому приезжать Вам теперь в Петербург по делу о «Современнике» совершенно напрасно...»

Чернышевский превосходно понимал, что кара, постигшая «Современник», последовала главным образом из-за его собственных статей.

Дни свободы его были уже сочтены. Полиция ждала только предлога, чтобы пресечь его деятельность.

Летом 1862 года такой предлог представился. Агентами правительства было отобрано на границе у некоего Ветошникова, вернувшегося в начале июля из Лондона, письмо Герцена к Н. Серно-Соловьевичу с припиской: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве — печатать предложение об этом? Как вы думаете?»

Упоминание имени Чернышевского в письме Герцена было сочтено достаточно благовидным предложением для того, чтобы арестовать его.



Студенты за чтением романа «Что делать?». (Рис. художника Ю. М. Казмичева.)



«Гражданская казнь» Н. Г. Чернышевского. (Рис. художника Ю. М. Казмичева.)

Ближайшие знакомые Николая Гавриловича — молодой сотрудник «Современника» Антонович и доктор Боков — были свидетелями драматической сцены, разыгравшейся 7 июля 1862 года в квартире Чернышевского на Большой Московской улице.

В этот день Антонович зашел около полудня к Чернышевскому поговорить об издании собрания сочинений Добролюбова. Николай Гаврилович был в квартире один, так как домашние его — Ольга Сократовна с сыновьями Александром и Михаилом — гостили в Саратове.

Скоре подоспел и Боков, и они втроем перешли из кабинета в зал. Прошло более часа, и вдруг мирная их беседа была прервана резким звонком в передней. Через минуту в зал вошел офицер и сказал, что ему нужно видеть Чернышевского.

— Я — Чернышевский, к вашим услугам, — выступил вперед Николай Гаврилович.

— Мне нужно поговорить с вами наедине, — сказал офицер.

— А, в таком случае пожалуйста ко мне в кабинет, — проговорил Николай Гаврилович и, как рассказывает Антонович, поспешно устремился из зала.

Оторопевший офицер сначала растерянно бормотал:

— Где же кабинет? Где же кабинет?

Но через некоторое время он громко воскликнул:

— Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского, и проводите меня.

Тогда из передней явился пристав Мадьянов и проводил офицера в кабинет.

Возвратившись оттуда, он стал убеждать Антоновича и Бокова уйти из квартиры.

— Но мы перед уходом непременно пойдем проститься с хозяином, — заявил Антонович.

Войдя в комнату, они увидели, что Николай Гаврилович и жандармский полковник сидели у стола Николай Гаврилович в эту минуту проговорил:

— Нет, моя семья не на даче, а в Саратове.

— До свидания, Николай Гаврилович, — сказал Антонович.

— А вы разве уже уходите? — спросил Чернышевский — И не подождете меня? Ну, так до свидания!

И он, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича.

Полковник Ракеев, производивший обыск у Чернышевского, в 1837 году сопровождал тело Пушкина, тайно вывезенное ночью из Петербурга в Святогорский монастырь. Этот же Ракеев делал первый обыск и у Михаила Ларионовича Михайлова в сентябре 1861 года.

Тщательным образом обыскав теперь всю квартиру Чернышевского, Ракеев отобрал рукописи и письма, показавшиеся ему особенно подозрительными, а также «недозволенные книги» и, сложив все это с помощью квартального в большой холщовый мешок, запечатал.

Гремя саблей, расхаживал Ракеев из комнаты в комнату, по-собачьи обнюхивая все и ко всему прикасаясь какими-то воровскими движениями.

Когда обыск был, наконец, закончен, Ракеев, составив с квартальными акт, обратился к Чернышевскому со словами:

— Выполняя приказание управляющего Третьим отделением генерал-майора Потапова, я принужден пригласить Вас, милостивый государь, с собою.

Тотчас после обыска Чернышевский был доставлен в Петропавловскую крепость и заключен в Алексеев-

ский рavelин, где содержались наиболее опасные, с точки зрения правительства, «преступники».

Несмотря на усиленную предварительную слежку тайной полицией, власти не располагали никакими юридическими доказательствами нелегальной деятельности Чернышевского. Они надеялись, что обыск, сделанный в его квартире, даст им в руки необходимые документы и материалы. Однако и тут они просчитались: ничего криминального в бумагах Николая Гавриловича не было обнаружено.

Тогда Александр II и его приспешники решили сделать Чернышевского жертвой гнусной провокации, главную роль в которой должен был сыграть предатель Костомаров.

Для осуществления этого плана потребовалось немало времени. Лишь по прошествии четырех месяцев после ареста Чернышевский был вызван на первый допрос, и ему было предъявлено в весьма неопределенной форме обвинение в «сношении с русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду». Чернышевский категорически опроверг это обвинение.

Медлительность действий следственной комиссии по делу Чернышевского объяснялась тем, что она вела в это время усиленную подготовку к закрытому процессу: подыскивала лжесвидетелей, подтасовывала факты, сочиняла подложные записки и письма, изобретала «улики», чтобы иметь возможность «юридически» обосновать заранее задуманную расправу над вождем русского освободительного движения шестидесятых годов.

Царь горел желанием избавиться от ненавистного ему великого революционера. Об этом красноречиво свидетельствует письмо Александра II к брату Кон-

статчину: «...в самый день моего отъезда, по сведениям, сообщенным из Лондона, должно было сделать несколько новых арестаций, между прочим, Серно-Соловьевича и Чернышевского. Найденные бумаги доказывают явно сношения их с Герценом и целый план революционной пропаганды по всей России. В этих же бумагах есть указание и на других главных деятелей, как в столицах, так и в провинции. Так что есть надежда, что мы, наконец, попали на настоящий источник всего зла. Да поможет нам бог остановить дальнейшее его развитие».

«Как я рад известию об арестовании Серно-Соловьевича и, особенно, Чернышевского. Давно бы пора с ними разделаться», — отвечал Константин.

Около двух лет понадобилось властям для того, чтобы разыграть акт за актом инсценировку «процесса». С необычайным мужеством и самообладанием, с исключительной изобретательностью и неумолимой логикой Чернышевский разрушал одну за другой все уловки своих обвинителей.

По ходу первых допросов Чернышевский увидел, что у следственной комиссии нет материалов и документов, проливающих свет на его подпольную революционную деятельность. В письмах из крепости, адресованных царю и петербургскому военному генерал-губернатору Суворову, он смело указывал на умышленное затягивание властями его дела и требовал немедленного освобождения из-под ареста.

Зная вместе с тем, что впереди ожидают его, быть может, тягчайшие испытания, он готов был встретить их во всеоружии. «Скажу тебе одно, — писал он жене из крепости, — наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут всеюми-

нать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь».

В сношениях с тюремной администрацией и с комендантом крепости генералом Сорокиным он держится независимо и гордо. Некоторые письма его к коменданту написаны в третьем лице: «Чернышевский считает...», «Чернышевский просил бы уведомить...», «По мнению Чернышевского..»

Иногда в тоне его записок слышатся повелительные нотки, иногда сквозит ирония и презрение.

Не получая положительного ответа на просьбы о свиданиях с женой, Чернышевский объявил однажды голодовку, и власти вынуждены были в конце концов уступить ему. В феврале 1863 года Ольга Сократовна получила разрешение на первое свидание с мужем в присутствии представителей тюремной администрации. Оно длилось около двух часов. Ольга Сократовна рассказывала потом родным, что Николай Гаврилович внешне изменился, отпустил бороду и очень похудел. Держался, однако, бодро, был даже весел, шутил, утешая ее, и говорил, что сидит в крепости только потому, что власти не знают, как теперь поступить с ним. «Взяли по ошибке, обвинения не могли доказать, а между тем шуму наделали».

Он просил присылать ему журналы и книги. Зная широту его интересов, родные направляли ему книги по истории, философии, математике, литературе. За долгие месяцы предварительного заключения он перечитал сочинения Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Помяловского, Диккенса, Флобера, Жорж Санд и многих других.

Он неутомимо и непрестанно занимался в крепости обширной творческой и исследовательской работой. Объемы ее колоссальны. Он писал в среднем по двенадцати печатных листов в месяц.

Е. Н. Пыпина, навещавшая Чернышевского в крепости, удивлялась его способности почти одновременно писать о политической экономии, работать над романом, переводить, собирать материал для исторического сочинения... «Ведь это просто чудеса в том положении, в каком он находится».

А палачи Чернышевского — следственная комиссия и Третье отделение, — заручившись «высочайшим соизволением», фабриковали в это время с непревзойденным цинизмом его «дело».

Оно ожидалось на согласованных с тайной полицией провокационных письмах Костомарова к вымышленным лицам. По замыслу режиссеров процесса эти письма предателя должны были изобличить Чернышевского. В дело были пущены также фальшивые автографы Чернышевского, состряпанные Костомаровым. Ложные показания последнего комиссия надумала подкрепить свидетельствами подкупленного московского мещанина Яковлева. Правда, Яковлев, вызванный для дачи показаний по этому делу, успел несколько скомпрометировать планы начальства буйным поведением и невольным саморазоблачением в пьяном виде. Однако и это не смутило жандармов. Всячески затягивая и запутывая дело, следственная комиссия хотела взять узника измором, но Чернышевский был непреклонен. Во время одной из очных ставок со Всеволодом Костомаровым он решительно заявил своим судьям: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю».

